

3-й янв 1967

УЖЕ ЛЕТЕЛИ с деревьев листья. И в сквозной тишине, в светлости осеннего дня как-то жалобно и ожидающе звенели березы. Словно невидимый пианист грустно перебирал великолепные белые клавиши стволов, извлекал звуки и наполнял ими воздух, разбивая тишину в звонкие капли. Это... листопад.

В город входила та пора года, когда по утрам, кутаясь в плащи, стоят на остановках люди и ждут автобусов. Ждут, ругаются, чешутся, напрапалую все автопарковское начальство и сразу им всем забывают, если им удастся протиснуться, наконец, в разбухший автобус.

В такую пору я не люблю ездить в автобусах. Ведь еще по-целинному не холодно. Да и потом... считаю, что это преступление. Можно проехать и не увидеть всей прелести осени, не почувствовать прохлады воздуха. А, главное, в эту пору не хочется быть раздраженным, злым, привередливым. Напротив, приливы доброты, умиротворения наполняют все твоё существо.

С таким настроением в этот вечер я возвращался с работы по главной улице города, которая как всегда жила своей обычной жизнью. Спешили прохожие. И мне было весело и радостно, что сегодня и вечер будто бы обычный, а вот мне угадывалась в нем своя, необычная прелесть. Было приятно, что именно вот я ощущаю себя в нем вроде бы как-то первоначально. Я старался объяснить свое душевное состояние удачно прошедшим рабочим днем. Но день был как день. Ничего особого не произошло. Такие дни даже не запоминаются. В общей веренище лет они безвестны, хотя мы их и прожили. Но солнечности моих чувств добавилось, когда, миновав разноцветные дома, пройдя горбатый мост через Ишим, я очутился в золотом царстве парка. Скамейки были пусты, усыпаны красными и светло-желтыми листьями. Облюбовав одну из них, я бережно сгреб листья и сел. Хотелось прислушаться, потерять себя, и, слившись с природой, пожить хоть мгновенье без забот маленьких и больших. Листья летели растерянно и, если приглядеться, то казалось, нехотя.

Не знаю, сколько бы просидел я, прислушиваясь к каждому звуку листопада. Может быть, минуту, а может, и час. Только из-задумчивости меня вывел голос в репродукторе. Читали Блока. Я четко расслышал последние стихи:

...Неужели и жизнь отшумела,

Отшумела, как платье твоё... Я знал эти стихи отлично, любил за блистательность за мудрость и мужество. И когда увидел седого человека, который стоял с радиоприемником «Спидола», то понял их — как что-то откровенное. Будто их говорил так холодно и грустно, жутко и страшно, какой-то очень сильный по духу человек. В котором этот самый дух еще буйствует, еще жаждет больших чувств, жизни всего своего существа, наполненной, высокой чувственной жизни, а дряхлое тело просит покоя, тянет мечту назад, просит защиты у природы. И, самое печальное — побеждает второе.

И мечты остаются, как мираж. А человек стареет, увядает.

Он протянул мне белую интеллигентную руку. И тихо сказал:

— Здравствуй, дорогой. А я вот гуляю... Не правда ли, нынче великолепная осень?

Взгляд у него был туманный, серые большие глаза — печальные, усталые, но в них еще горел несдающийся огонь. И если взглянуть пристальней и повнимательней то можно было ясно увидеть — глаза боролась, они не хотели поддаваться напору старости, напору неумолимому и сокрушительному. Он грустно улыбнулся.

— У меня сегодня выступление. Студентам Симонова читать буду.

Он задумался, видно, вспоминал, что же он будет читать

и гениальный. И среди сдвинутых столов и стульев трудно, очень трудно было угадать в одухотворенном артисте Розовском седого человека Розовского.

Не помню, но где-то я прочел, что искусство продлевает жизнь артисту, делает его молодым и непокорным. Оно — его другая жизнь, другое дыхание. От него трудно уйти на пенсию. И уж ни в коем случае устать.

Розовский был бледен. Последние стихи «Суворова» он читал в каком-то горьком, но прекрасном волнении. И долго стоял, прислушиваясь к аплодисментам, глубоко вдыхая прокуренный воздух, пахнувший порохом и осенью.

Обессиленный с потухшим взглядом, он сидел в комнатке коменданта, снимал свой

артистический наряд и теперь снова казался седым и неумолимо одиноким. Снимая блестящие, лакированные туфли, он, нехотя поднял на меня глаза, спросил сухо:

— И что же?..

— Боюсь. Боюсь разлуки с ним. Боюсь камерности своего существования. Ведь она придет... Придет, как приходят и уходят времена года. Вот, скажем, как осень. И не верю, понимаете, не хочу верить, что придет.

...Тогда кончался апрель. Во все глотки гремели ручьи. В воздухе чувствовалось уже дыхание майских дней. И по тому, что рано прилетели грачи, и по всей творившейся на улице бурной весенней работе, угадывалось: май предвещает быть теплым.

Розовский посмотрел в окно,

что жизнь артиста, в общем, прошла наполненно. Были в ней взлеты, и падения. Он всю ее проработал, «проиграл», почувствовал. И вот теперь он в конце жизни, но жить ему хочется точно так, не ломая своего уклада, заведенного еще тогда, давно, в пору его молодого и блистательного Шиллеровского Фердинанда...

Виталий, рассматривая одну из сцен спектакля, где Розовский в роли молодого ловеласа, как бы между прочим, бросает:

— А красивым был Исая Лазаревич.

И я вижу, как посмотрел на него Розовский, и стал еще бледнее. Мгновенье он сидел потерянный, ушедший в себя. Почта молчаливости и оцепенения осталась и на протяжении всего вечера. Теперь он был скучен. В нем не было видно больше гостеприимного доброго и расточительного хозяина.

Мне стало досадно. И я попросил его прочитать что-нибудь из Евтушенко. Он согласился, но без особого восторга. Читал дрожащим голосом «Окно выходит в белые деревья», читал великолепно. После стихотворения, грустного и безысходного, он как-то совсем грустно улыбнулся и пожаловался на усталость. Попрошавшись, мы покинули артиста.

Звездная ночь спала под азиатским ятаганом изогнутым месяцем. Ручьи не замерзли и теперь еще оживленнее звенели. И этот звон напомнил мне какую-то печальную и в то же время сказочную мелодию, которая поговорила о добре, о вечности весны, жизни, о всепобеждающем начале человеческой мечты, страстной сердца. Постепенно я как бы стал зримо чувствовать эту мелодию.

Отойдя метров двести, оглянулся и увидел — в окнах квартиры Розовского горел свет. Значит, артист еще не спал. Может быть, он разговаривал с Суворовым. В моем мире было не так одиноко и не страшно глядеть в осеннюю ночь.

ПАРК вздыхал, как старый человек, охваченный непроходимой осенью. Мы сидели и слушали звон облетающих листьев, в «Спидоле» стихи Блока.

— Великолепная нынче осень, — повторил Розовский.

— Да, очень.

— И знаете, почему она такая, — лукаво подмигнул он. — Хочет поправиться нам... с Суворовым. Кстати, сегодня юбилейное мое чтение «Суворова». Приглашаю, милости просим...

Он посмотрел на часы. — Если пойдете, то нам, пора.

Мы встали и пошли к выходу. А уже через десять минут ехали в переполненном автобусе и я в душе проклинал себя, что не пошел пешком.

Исая Лазаревич был весел. Его ждали люди. И он торопился к ним. Ведь он полюбил, как важно это.

Стояла золотая задумчивая осень...

Л. КАЛАШНИКОВ.

г. Целиноград.

ОЧЕРК

Осень, осень...

студентам. Затем поднял желтый, странной формы тополиный листок, и тихо, растягивая слова, добавил:

— По-эму «Суворов» читать буду.

Я представил, как сегодня, придет этот седой, слегка лысеющий человек к студентам и будет прологать страстную борьбу с неумолимой старостью. Как он будет строг и печален, горд и независим, изображая Суворова забытым стариком. И как он устанет. И как он выйдет гордым победителем.

Представить мне все это было не трудно, потому что я слышал эту поэму в его исполнении.

ПОМНЮ, попал я тогда очень случайно на поэтический вечер артиста Ася Розовского. Публика была самая разношерстная. Рабочие заводов и строки, искренние, глазастые, с завидным задором лиц и, скучающие, раздраженные, довольные взгляды, так называемой молодой интеллигенции. В тесном заводском общежитии уже не продохнуть. А люди все прибывали. И вот появился артист. Он был бледен. Откашлявшись и обратив на себя за это осуждающее, но вовсе не сочувственное внимание, он постоял мгновенье и сказал первую фразу. Он сказал ее тихо, без нажима, без подъема. Хотя мне всегда казалось, что именно этот текст требовал страсти, уверенности. А не разговорной, почти усталой интонации. Но после нескольких стихов, таких, на первый взгляд, усталых, я почувствовал, как ловлю себя на мысли: я захвачен поэмой. Она проникает во все мое существо, завладевает мной, волнует глубины сердца. И я подался вперед. Артист заставил меня жить «Суворовым».

В зале была тишина. Настороженная и, мне почудилось, пахнувшая порохом. Тишина с летящим поверх нее голосом артиста Исая Розовского. Тишина, в которой жил, блистал остроумием сухонкий старик. Суворов, человек, преданный России, справедливый

артистический наряд и теперь снова казался седым и неумолимо одиноким. Снимая блестящие, лакированные туфли, он, нехотя поднял на меня глаза, спросил сухо:

— Вам понравился «Суворов»?

— Да, — ответил я восторженно.

— А чем именно, скажите, дорогой...

— Мне показалось, что вы в «Суворове» с чем-то боролись. — Боролся?..

Он внимательно посмотрел на меня, положил в чемоданчик ботинки и задумался.

— Значит боролся... Справедливо. А еще что?..

— Ну и еще... тоже боролся.

— Видите, дорогой мой, мне порой очень трудно читать «Суворова». Дело в том, что это мой любимый образ. И он меня чрезвычайно утомляет. А когда я «дovoжу» Суворова до одиночества, мне хочется плакать. Плакать от безысходности. Я не могу видеть старым этого сильного человека. Понимаете, не могу?.. А вы как думаете?

Теперь я слышал его дыхание — частое, частое. Он придвинулся ко мне ближе. От него пахло тонкими духами. Поза его напоминала мне человека, который ждет будто приговора, ждет подтверждения своей какой-то главной мысли.

— Знаете, Исая Лазаревич, я ни на миг не видал вашего Суворова старым. Я видел его сильным, и, если хотите, юношей богатырского духа.

— Юношей?..

Взгляд его загорелся, он повеселел.

— Да, да, именно, юношей. Меня не обманула интуиция. В этих словах он нашел как-бы так ему нужную, необходимую сегодня поддержку. Словно большой груз спал с его плеч. Бросил молодеским жестом на спинку стула костюм, заговорил торопливо:

— А знаете, я всегда думаю с необъяснимой затаенной тре-

заваленное густыми быстрыми сумерками.

— Не правда ли, странно весной об осени говорить.

И это прозвучало как-то грустно. Да он и сам это почувствовал и, чтобы внести недавний мажор в наш разговор, предложил:

— А не поехать ли ко мне на кофе? Едемте, дорогой.

В НЕБОЛЬШОЙ комнате артиста тесно. Нас трое. Еще пришел к Розовскому сосед, врач. Молодой, высокий, с приятным лицом. Он много шутит. Без умолку рассказывает о своих пациентах. Гордится человек своей работой. Видно это хотя бы по тому, как он говорит, жестикулирует, смеется.

— А вот вы, Виталий, — обращается к нему Розовский, — смогли бы вылечить человека от осени...

Виталий смущен.

— Нет, нет, что вы, это состояние человека естественное. Природа берет свое, она всеильна.

— Всесильна... Ну, что ж, крикнете класть голову на плаху? Не хочу. Понимаете, не хочу...

Потом пьем кофе. Исая Лазаревичу холодно. Он подливает в чашку коньяка. Но это его не согревает. Он трет руки, встает и, извинившись, уходит. Откуда-то из кухни доносятся его голос: «Но где же он запропастился».

Рефлектор греет еле-еле. Артист сидит в кресле и ровными, мелкими глотками отпивает из чашки кофе. Лицо его освещено. Огонь в глазах, на щеках, на бровях, и оттого оно кажется багровым. Вдруг он вскидывает брови и говорит неожиданно:

— Друзья, а вы не видели меня молодым, не видели?

И отвечает сам себе уже гордо:

— Как же, как же, были и мы рысаками...

Фотографии разной давности. И в них теперь его жизнь, вернее, лучшая часть ее. О каждой он рассказывает охотно, с удовольствием. И чувствуешь,